В. С. ЛИСТОВ

ПЕВЦЫ. ВОИНЫ. ПРОРОКИ[1]
Пушкин и Царь Давид

Я слишком с Библией знаком.
Пушкин. Из частного письма (*XIII, 71*).

В конце весны — начале лета 1850 года Петр Андреевич Вяземский совершал паломничество по Святым местам в Палестине. Воображаемая визитная карточка путешественника могла быть весьма красноречивой: князь, вельможа, крупный чиновник, поэт, журналист, автор воспоминаний, известный острослов. В Земле обетованной он иногда присваивал себе чуть странный, но, в общем, понятный титул: «русский эмир».

12 мая застало «русского эмира» в Иерусалиме. В тот день он слушал православную обедню в храме Воскресения Христова, на Голгофе, — за упокой душ самых близких людей — родителей, умерших детей, других родственников, друзей. Под сводами главного храма всех христиан, над Гробом Господним, звучало имя Александра Сергеевича Пушкина,[2] завершившего свой земной путь тринадцать лет тому назад. Поминая друга-поэта в Иерусалиме, Вяземский прекрасно понимал смысл совершаемого обряда — именно здесь и именно для памяти Пушкина... В бесчисленных откровенных беседах, в многолетней переписке поэтов, в их стихах и прозе иерусалимские мотивы неизбежно должны были звучать и часто, и многообразно. Иерусалим, *град Давидов*, одинаково сильно занимал воображение обоих стихотворцев. Ни мне, ни нашим современникам нечего даже и пытаться соперничать с князем Петром в знании и понимании характера Пушкина, его интересов, пристрастий и антипатий. Но все-таки рискну предположить, что Вяземский, безусловно, отмечал про себя склонность Пушкина к подражанию царю Давиду.

---

[1] Виктор Семенович Листов предложил эту статью редакции «Временника Пушкинской комиссии» в середине октября 2020 г. Спустя полтора месяца ученого не стало. Эта внезапная смерть помешала обсудить кажущиеся спорными вопросы, уточнить некоторые детали и затем доработать статью. Поэтому редакция приняла решение печатать присланный текст почти без изменений, но в качестве приложения, как памятник научной мысли; был лишь дополнен и унифицирован научный аппарат. — *Ред.*

[2] См.: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1884. Т. 9. С. 255.

Пушкинский кабинет ИРЛИ
© В. С. Листов, наследники, 2022
DOI 10.31860/0236-2481-2022-36-274-301

Певец и воин — вот два жизненных призвания царя Давида, увлекавшие Пушкина; вот как минимум два повода для следования русского поэта и дворянина за древним сочинителем псалмов, пророком и полководцем. Надо ли напоминать, что Пушкин никогда не подражал слепо? Его подражания — и поэтические, и жизненные — носили творческий характер, органически и неотъемлемо входили в его духовный и образный мир. Собственно, отклики Пушкина на знакомство со страницами ветхозаветных Книг, с другими источниками вокруг мифологизированной биографии и творчества псалмопевца и составляют содержание предлагаемой работы, далеко, конечно, не полной...

1

Сравнивать, сопоставлять царя Давида и Пушкина можно по многим основаниям. Автор канонической Книги хвалений и основоположник современной русской поэзии находятся в прямом и очевидном родстве «по музе, по судьбам», что отмечалось по многим поводам и разными исследователями. Одна только неясная, неразборчивая в автографе пушкинская эпиграмма «Певец-Давид был ростом мал...» (II, 318) повлекла за собой необозримое множество комментариев, истолкований, попыток реконструкции. К этой эпиграмме я еще вернусь. Но исходные соображения, на первый взгляд, будут далеки от библейских страниц.

То, что можно было бы назвать «военной биографией» Пушкина, еще не написано. Между тем ее исток едва ли не совпадает с началом жизни поэта. Об этом свидетельствуют страницы дневника знаменитой светской дамы Александры Иосифовны Смирновой-Россет, приятельницы Пушкина. Под 6 марта 1845 года мемуаристка заносит в свой дневник короткую запись о визите князя Александра Аркадьевича Суворова, флигель-адъютанта и генерала от инфантерии. Речь зашла о родном деде генерала Александре Васильевиче Суворове, великом полководце. Видимо, по этому поводу в разговоре прозвучало некое семейное предание — не то Суворовых, не то Пушкиных. Или, может быть, предание равно принадлежало двум семьям? Так или иначе, но мемуаристка излагает фамильную легенду XVIII века следующим образом:

> Аннибал, дед (правильно не дед, а прадед. — *В. Л.*) Пушкина, решил судьбу Суворова. Отец его генерал-аншеф, очень умный и просвещенный человек по тогдашнему времени, прочил его в штатскую службу, потому что он был слабого сложения. На что

Суворов не соглашался и все читал военные книги. Аннибал однажды был подослан к нему, чтобы уговорить его войти в службу (штатскую. — *В. Л.*), нашел его лежащего на картах на полу и так углубленного, что он и не заметил вошедшего арапа. Наконец тот прервал его размышления, говорил с ним долго, вернулся к отцу его и сказал: «Оставь его, братец, пусть он делает, как хочет: он будет умнее и тебя и меня».[3]

Такого рода анекдот, я думаю, должен был сильно занимать Пушкина, склонного внимательно относиться ко всяким странностям исторических происшествий.[4] Поэт прекрасно знал и по достоинству оценивал и другой поступок своего предка: вопреки воле самого Петра I, окрестившего арапа именем «Петр», Ибрагим взял себе прозвище Абрам Ганнибал — вслед и в память знаменитого карфагенского полководца.[5] Ту же самую — полководческую — фамилию Ганнибал носила в девичестве мать Пушкина Надежда Осиповна.

Семейное предание о Суворове получило неожиданное продолжение в самом конце XVIII века. Весной 1799 года Суворов, совершая свой итальянский поход, взял Турин, главный город Пьемонта. Произошло это 26 мая (по старому стилю) — в тот самый день, когда в Москве родился Пушкин. На протяжении всей своей жизни поэт знал эту малозаметную воинственную подробность своего появления на свет. Совпадение начала жизненного пути со славной военной победой должно было сильно занимать, питать воображение. Самое свое имя *Александр* он, безусловно, ставил в ряд с именами полководцев — Македонского, Невского, Суворова. Стремление юного лицеиста стать под знамена Кутузова в 1812 году против Наполеона, а потом и желание после лицея пойти в гусары — в русле той же воинственной традиции.

Не забудем и о путешествии Пушкина на Кавказ, в Арзрум. Оно было предпринято далеко не только по семейным обстоятельствам (повидать брата Льва) или — тем менее — чтобы дружески обнять ссыльных декабристов. Нет. Военные, встречавшиеся с Пушкиным в 1829 году на Кавказе, в один голос вспоминают, с каким воодушевлением поэт рвался в бой и как трудно им было не пускать

---

[3] *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С. В. Житомирская. М., 1989. С. 8. («Лит. памятники»).

[4] См.: [*Листов В. С.*] О Петре Великом — cum grano salis // Анекдоты из сочинения И. И. Голикова «Деяния Петра Великого...», отмеченные придворным историографом А. С. Пушкиным. М., 2015. С. 5—20.

[5] См.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 52.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его в самые горячие точки сражений. Вот, почти наудачу, реплика поручика Михаила Пущина о первой встрече с Александром Сергеевичем на Кавказе:

> — Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем я сюда с такими препятствиями приехал![6]

Можно было бы долго рассуждать о том, зачем Пушкин приехал на Кавказ и явились ли литературные амбиции главной побудительной причиной его поездки, но это далеко увело бы от темы. Достаточно будет напомнить, во-первых, о желании Пушкина участвовать в сраженьях, а не «воспевать подвиги» (VIII, 443) других. А во-вторых, привести всеобъемлющий стихотворный афоризм из «Бориса Годунова»:

> Стократ священ союз меча и лиры;
> Единый лавр их дружно обвивает.
> (АПСС. Т. 7. С. 49)

Собственно, тот «союз», о котором здесь идет речь, ярче всего и полнее всего олицетворяется как раз в могучей фигуре Давида, сына Иессея из Вифлеема. Страницы Второй Книги Царств хранят образ воина и певца, чью коренную роль в Священной истории понимает каждый, кто прикасался к Ветхому Завету. Пушкин последовательно идет по стопам героя Писания. В упомянутой уже эпиграмме «Певец-Давид был ростом мал...» он в первых же строках подчеркивает две стороны призвания древнего царя: певец и победитель Голиафа. Мотив самосравнения слышен здесь совершенно отчетливо. Пушкин, если еще не обрел славу первого поэта России, то близок к тому. А вот как раз на полях сражений он, старинный дворянин, соименник полководцам, пока ничем себя не проявил. Именно эту жажду воинской славы мы видели в его поездке по полям сражений на Кавказе. Тут уместно будет заметить, что в «Путешествии в Арзрум» несколько раз и по разным поводам возникает имя старшего приятеля Пушкина — Дениса Давыдова. Вот он-то, Давыдов, — славный поэт и воин — совершенно соответствовал идеалу двойного жизненного поприща. Даже и фамилия его — Давыдов — по странной случайности восходила к имени библейского

[6] *Пущин М. Н.* Встреча с Пушкиным за Кавказом // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 90—91.

царя. Пушкин всегда чутко и мгновенно откликался на такие совпадения.

Эту линию наблюдений можно, кажется, не продолжать. Она очевидна. Я напомню только, что Давыдов много способствовал становлению юного Пушкина как поэта. Пушкин признавал свое стихотворческое ученичество у Давыдова, но читывал и его военные сочинения — например, его «Устав наездника». Итог своих военных и поэтических исканий сам Пушкин подвел в своем послании к Давыдову (1836):

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник скромного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
(III, 415)

2

Пушкин, конечно, не был глубоким знатоком жизненного пути царя Давида. Поэт хорошо знал Ветхий Завет — главный и едва ли не единственный источник биографии героя.

В кругу Пушкина — а это просвещенное русское дворянство первой трети XIX века — такого рода знания были общедоступны и широко распространены, но традиционно относились преимущественно к ведомству Церкви. Псалмы Давида и другие литургические тексты с детства становились известны каждому образованному соотечественнику Пушкина, но обсуждались преимущественно с моральных точек зрения, а вовсе не как достоверные факты научной биографии воина и псалмопевца. Разумеется, Пушкину было известно общеизвестное. Но поэт тем не ограничивался. Он понимал, что серьезное — если угодно, исследовательское — проникновение в мир Ветхого Завета невозможно без обращения к первоисточникам на языке оригинала.

Об этой стороне интересов Пушкина известно не много.

Одним из законоучителей в Царскосельском лицее был выдающийся русский гебраист Герасим Петрович Павский, по отзыву Пушкина — пример «ученого, умного и доброго священника» (XII,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

337). Взаимное доброе расположение учителя и ученика, возникшее в Лицее, по-видимому, продолжалось потом долгие годы, хотя известные мне прямые источники об этом молчат. Однако ж, думается, автор «Капитанской дочки» не случайно назвал священника Белогорской крепости, спасшего главную героиню повести, *отцом Герасимом*. Не в честь ли Павского? Во всяком случае, вряд ли без наставничества Герасима Петровича обошлось сочинение пушкинских переводов из Книги Песни Песней, созданной сыном Давида, царем Соломоном.[7]

Весной 1832 года Пушкин делает начальный шаг к изучению языка Ветхого Завета; он выписывает буквы еврейского алфавита с параллельным обозначением звукового качества этих букв через фонетику алфавита греческого. Возможно, это и вправду первый приступ к изучению еврейского языка.[8] Или — что вероятнее — локальный интерес к какому-нибудь конкретному ветхозаветному сюжету. Еще в семидесятые годы прошлого века А. Е. Тархов предложил остроумную версию решения вопроса. За несколько месяцев до приступа к «Медному всаднику» Пушкин не только раздумывал над фабулой петербургской поэмы, но и пытался проникнуть в характер ее главного героя. Прототипом чиновника Евгения мог служить Иов Многострадальный из ветхозаветной Книги Иова. Бог, насылая на него страшные бедствия, испытывает терпение и верность раба Своего. В переводных текстах Книги испытуемый полностью послушен Богу и претерпевает все до конца. В древнееврейском тексте Иов в какой-то момент испытания ропщет, спрашивает у Бога: «за что?» Тем самым чиновник Евгений со своим «ужо тебе», кажется, ближе к дохристианскому прототипу героя. Выходит, по А. Е. Тархову, что Пушкин, возможно, ищет черты характера страдальца не только в переводах Библии, но и в первоначальном ее тексте.[9]

Этот пример приведен здесь только для того, чтобы показать несомненную заинтересованность Пушкина в разных, подчас противоречивых, истолкованиях библейского текста. Аналогичная заинтересованность, вероятно, может быть выявлена и в пушкинском прочтении псалмов Давида и других источников, относящихся к творчеству и биографии певца и пророка.

Не будучи, как уже было сказано, глубоким библеистом, Пушкин, хотя бы как ученик Г. П. Павского, понимал безусловную

---

[7] См.: Рукою Пушкина. С. 32; АПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 83.

[8] См.: Рукою Пушкина. С. 60—62.

[9] См.: *Тархов А. Е.* Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. 1977. № 2. С. 62—64.

сложность, многослойность исторического наследия Давида. Пушкин постоянно размышлял над собственным историческим родословием, над особенностями и странностями своего происхождения. Династическая история царя Давида, скорее всего, присутствовала в этих размышлениях, как, впрочем, и вообще гремучая смесь европейских, азиатских и африканских кровей. Имя легендарной царицы Савской, правительницы южной земли Саба, в сохранившихся рукописях Пушкина не упоминается. Но в том, что Пушкин знал о ней и о ее визите в Иерусалим к сыну Давида царю Соломону, сомневаться не приходится: сюжет этого царственного визита составляет первую половину десятой главы библейской Третьей Книги Царств.

По еврейским, арабским и эфиопским преданиям, царица Савская родила от Соломона мальчика; он потом правил Эфиопией под именем Менелика и стал основоположником царской династии в этой африканской стране. Те же предания повествуют и о служанке царицы, которая тоже родила мальчика от Соломона. Оба младенца, таким образом, явились родными внуками царя Давида. Тем самым к Соломону и Давиду восходят оба рода правителей Эфиопии, чьи потомки царствовали почти до наших дней. Я не стану отвлекаться на любопытные подробности генеалогической истории в далекой африканской земле. Отмечу только, что Пушкин, думая о своем черном предке, не сомневался в его принадлежности к династии эфиопских монархов, к потомкам Давида.

Следом этих размышлений Пушкина служит, например, реплика боярина Гаврилы Ржевского из повести о царском арапе. Говоря о черном женихе своей дочери, Ржевский объясняет: «Он роду не простого <...> он сын арапского салтана» (VIII, 25). Тем самым прадед русского поэта, арап Ибрагим, в сознании Пушкина становится потомком Давида — через Соломона и царицу Савскую.

Не исключено, что в этом эпизоде неоконченной повести есть и другой мотив, тяготеющий к дохристианским преданиям из Третьей Книги Царств. Легендарная царица Савская, желая проверить мудрость Соломона, задает ему разные вопросы — нравственные, житейские, натурфилософские. Соломон их безошибочно разгадывает (3 Цар. 10: 1—5). На этом мотиве, может быть, построена у Пушкина сцена обеда у русского боярина. После отъезда царя Петра хозяину дома Ржевскому вздумалось загадать гостям загадку: за кого государь изволит выдать нашу дочь Наташу? И все ответы оказываются невпопад. Никто из гостей не угадывает решения Петра-свата.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тут, разумеется, нет поводов сравнивать Соломоновы решения с суждениями местнически настроенных бояр. Но важно отношение Пушкина к далеким и близким предкам — к среде легендарной и среде реально-исторической, — определившим его происхождение. Поэт прекрасно понимает, на каком гражданском и моральном переломе эпох произошло вхождение его черного предка в круг старомосковского боярства. Жизненная коллизия, возникшая в повести, оказалась сложна и многогранна. Она была знакома Пушкину — увы! — далеко не только по душеспасительным книгам и церковным проповедям.

Семейство Ржевских, благодушествуя после обеда, нечаянно приходит в замешательство и ужас, узнав, что новым родственником может стать арап Ибрагим. Реплика Ржевского о высоком происхождении африканца и должна была хоть как-то примирить гостей с кошмарной перспективой. Тем не менее старшая сестра хозяина Татьяна Афанасьевна и старый князь Лыков непримиримы:

> — Батюшка-братец, — сказала старушка слезливым голосом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.
>
> <...>
>
> — Как, — воскликнул старый князь, — у которого сон совсем прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!» (VIII, 25)

Говоря формально, все это происходит в начале XVIII столетия; говоря и по существу, Пушкин здесь отождествляет себя со своим черным предком, жившим столетие тому назад. Ведь и ему, Пушкину, приходилось получать отказы при сватовстве в благородных семействах; обсуждение этих эпизодов увело бы далеко от основной темы. Важно только, что африканское происхождение жениха всякий раз входило в список препятствий к свадьбе. В той же неоконченной истории царского арапа речь идет о соперничестве Ибрагима с приемышем Ржевских — *Валерианом* (VIII, 32, 33). Имя любовника Наташи Ржевской тоже, оказывается, не случайность. Осенью 1826 года Александр Сергеевич просил руки дальней своей родственницы, Софьи Пушкиной, но получил отказ. Девица вышла за *Валерьяна* Панина.[10] Мотив из повести, значит, имел жизненную подоснову — черный и белый спорят о невесте.

[10] См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп., перераб. Л., 1988. С. 355.

В подтексте пушкинских суждений без труда прочитывается восхищение мудростью Петра I, кажется совершенно лишенного расовых предрассудков; именно на 1827 год, год написания повести об арапе, приходится пик приятия Пушкиным царственного реформатора и его реформ. Позже, в тридцатые годы, отношение к Петру у Пушкина усложняется, сменяется неприятием и даже прямым осуждением.[11]

Теперь оставим ненадолго семейную историю Пушкиных и посмотрим, что происходит три тысячи лет назад в роду Давида. Оказывается, древний владыка царства тоже не полностью принадлежал к тому, что сейчас у нас принято называть «титульной нацией».

Родословная Давида известна по Книге Руфь, одном из самых поэтических произведений, вошедших в состав Ветхого Завета. Поэзию трудно, даже и невозможно, пересказывать прозой, тем более прозой историко-литературоведческой. Поэтому ограничусь кратчайшим пересказом общеизвестных фабульных связей Книги Руфь. Одна семья, гонимая голодом, переселилась из Вифлеема иудейского в языческий Моав. Там сыновья женились на моавитянках, но вскоре оба умерли вместе со своим отцом. Вдова умершего отца, Ноеминь, вместе с невесткой-моавитянкой Руфью вернулась в Вифлеем. Здесь Руфь вторым браком вышла за человека праведного по имени Вооз. Увы, здесь нет места для рассказа о том, как сложилась семья Вооза и Руфи. И лучше, чем написано на боговдохновенных страницах, все равно не рассказать. Поэтому приведу только самый конец Книги, где дана родословная израильского царя: «...Вооз родил Овида; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида» (Руфь 4: 21—22).

Известный знаток и комментатор библейских страниц М. И. Рижский видел основное значение Книги Руфь именно в том, что ее автор понимает непререкаемую справедливость и высоту воли Божьей, перед которой отступают, рассыпаются в прах многие человеческие измышления. В данном случае — племенные и национальные предрассудки. Говоря о Книге Руфь, Рижский утверждал:

> Автор, подчеркивая иноземное происхождение своей героини, явно стремится показать, что иноземные женщины не обязательно представляют собой опасность и проклятье для израильской семьи; что есть среди иноплеменниц такие, которые не только признают Яхве своим Богом и Израиль своим народом, но и поступают столь

[11] См.: *Листов В. С.* Новое о Пушкине: История, литература, зодчество и другие искусства в творчестве поэта. М., 2000. С. 391—421.

благочестиво и благородно, что заслуживают признания родственников-израильтян, одобрения всего народа и благословения самого Яхве. Ведь Яхве предопределил, чтобы именно иноземка Руфь стала праматерью царя Давида, от которого произойдет и сам будущий Мессия.[12]

Таким образом, жена Вооза, моавитянка Руфь, приходится Давиду прабабкой. Степень родства точно та же, что у Пушкина с арапом Ибрагимом. Трудно сравнивать поверх тысячелетий, но все же неприятие «негров безобразных» в Европе близко напоминает отторжение Израиля от Моава. Библия считает людей этого племени потомками Лота, чей старший сын Моав был рожден от пьяного соития отца, то есть Лота, с его же дочерью. Нечистота происхождения тяготела над моавитянами с точки зрения правоверных евреев (Быт 19: 31—38).

И вот — Давид, значит, выступал перед сообществом соплеменников как полукровка, как неполный соотечественник. Ложность, неудобство такого положения Пушкин испытывал всю жизнь. Еще в Лицее его дразнили «обезьяной». Потом его детей едва ли не в глаза называли «орангутанцами», намекая на их африканское происхождение. «Купленный арап» применительно к Ибрагиму Ганнибалу возникал под неукротимым пером Тадеуша Булгарина. Светские дамы в столицах и провинции упражнялись в догадках насчет негритянской некрасивости русского поэта. И так далее.

К славе и достоинству арапа, находившегося в родстве с царем Давидом, Пушкин относился не просто с почтением, но с ясным пониманием богоизбранности поколений праотцев, предков. На пути к трону пастуху пришлось преодолеть сопротивление в доме отца, Иессея; победить Голиафа и филистимлян и — что особенно важно для Пушкина — заставить национально ограниченных соотечественников забыть о неполной принадлежности монарха к тому, что нынче, как сказано, называется «титульной нацией». Биограф вполне основательно рассказывает, как на коронации Давида старейшины колен в Хевроне объявили новому царю: *мы кость твоя и плоть твоя*. Старейшины, таким образом, «публично отвергли все слухи и домыслы о том, что он является инородцем <...>. И это означало, что уже никто в будущем не мог оспорить его права и права его потомства на эту власть».[13]

---

[12] *Рижский М. И.* Библейские пророки и библейские пророчества. М., 1987. С. 280.

[13] *Люкимсон П. Е.* Царь Давид. М., 2011. С. 144. («Жизнь замечательных людей»).

3

Вопросом о моавитских корнях в родословной Давида проблема его происхождения не исчерпывается. Самое рождение Давида таит в себе кое-какие неясности и противоречия; не все их придется обсуждать. Нет доказательств того, что Пушкин их знал. Но — так или иначе — тексты Ветхого Завета свидетельствуют о жизни знатной иудейской семьи Иессея в Вифлееме. У Иессея и его жены Ницевет было семеро сыновей (старший — Елиав), с которыми отец и мать связывали будущее рода.

По свидетельству Первой Книги Царств, события развивались весьма необычным образом. Когда Господь отнял свое благоволение у первого израильского царя, Саула, то повелел Он пророку Самуилу пойти в Вифлеем и помазать на царство одного из сыновей Иессея. Пророк Самуил уже готов был наклонить рог с елеем над Елиавом, видным и красивым мужчиной. К тому склоняло его не только старшинство Елиава над братьями, но и пример оставляющего престол Саула. Ибо Саул был человек «молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа» (1 Цар 9: 2).

Но Елиав не удостоился помазания Божия. «...Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; *Я смотрю не так*, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар 16: 7). Затем Вседержитель последовательно отверг и остальных, младших братьев Елиава, — по той же самой причине.

Пушкин, кажется, нигде не ссылается на этот библейский рассказ. Но невозможно сомневаться в том, что поэт читал и перечитывал его не однажды и с особенным чувством. Косвенным, хотя и необязательным, подтверждением здесь служат воспоминания петербургской жительницы С. Ф. Тимирязевой, записанные ее сыном, впоследствии крупным чиновником Ф. И. Тимирязевым:

> Однажды после обеда, когда перешли в кабинет и Пушкин, закурив сигару, погрузился в кресло у камина, матушка начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго и молча следил за ее высокой и стройной фигурой и наконец воскликнул: «Ах, Софья Федоровна, как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все кажется, что судьба меня, как лавочник, обмерила».[14]

Арифметические подсчеты здесь так же несложны, как и незанимательны. Мадам Тимирязева имела росту 2 аршина и 8,5 верш-

[14] Разговоры Пушкина / Собр. С. Гессен и Л. Модзалевский. М., 1929. С. 159—160.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ков (около 1 м 80 см).[15] Пушкин — около 1 м 60 см. Гораздо любопытнее в воспоминаниях петербургской дамы другая подробность: она «начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго и молча следил за ее высокой и стройной фигурой». Пушкин, как известно, довольно болезненно относился к своей внешности, далекой от европейских образцов красоты.

Мизансцена, случайно возникшая в кабинете у Тимирязевых, могла повести сознание Александра Сергеевича по привычному, много раз пройденному руслу: *Певец-Давид был ростом мал*. Библейские аналогии просто напрашивались. Пушкин знал, что «певец Давид» вовсе не был мал ростом; сознание этой малости возникало только в сравнении с филистимлянином-великаном, единоборцем Голиафом. Он, Голиаф, ежедневно появлялся перед полками израильскими и, похаживая взад и вперед, вызывал на поединок кого-нибудь из противников. Похожее движение высокорослой дамы («взад и вперед»), конечно, напоминало Пушкину стихи из библейской Книги: певец наблюдает за перемещениями великана, готовится стать воином (1 Цар 17: 4—10).

В пределах мемуарного эпизода указанная параллель тут, понятно, и кончается. Пушкин, разумеется, не думает прямо сейчас менять мирную послеобеденную сигару на воинственную пращу и донкихотски поражать выдуманного врага. Вместе с тем давняя обида на судьбу выражена в его реплике так сильно, что подвигает даже на самосравнение весьма высокого уровня. По той же причине Пушкин в обществе не любил стоять рядом с женой — это подчеркивало невыгодную для него разницу в росте.

Бытовая повседневность в таком случае, несомненно, давала о себе знать, но далеко не полностью поглощала раздумья Пушкина. Мысленно, в воображении своем, вступая в роль певца и воителя Давида, он следовал как раз не обыденным житейским образцам, а боговдохновенным первоисточникам. Речь идет прежде всего о 151-м псалме, завершающем Книгу Хвалений и стоящем особняком среди других текстов Псалтири. Этот псалом даже не во все издания Ветхого Завета входит. Православный комментатор вполне обоснованно полагает, что содержание псалма «можно назвать краткой автобиографией самого Давида, и потому, может быть, некоторые считают псалом сей эпитафией Давиду, изложенной от его имени».[16]

Тем самым текст 151-го псалма как бы подводит итог всему жизненному пути царя; поэтому будет уместно привести утвержде-

[15] См.: Там же. С. 159.

[16] *Разумовский Г., прот.* Объяснение Священной Книги Псалмов. М., 2002. С. 986.

ние, предваряющее в Библии его основной текст: «Сей псалом особ писан, Давидов, и вне числа 150 псалмов, внегда единоборствоваше на Голиафа» (Пс 151, надписание). В отличие от других глав Священной Книги, он не разделен на отдельные нумерованные стихи. И вот его начало:

> Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего: пасох овцы отца моего.

Здесь ключ к пушкинскому пониманию Давида. Отсюда берут начало едва ли не все обращения русского поэта к мощному образу древнего царя и пророка. В свою очередь, «малость», о которой поет псалмопевец, восходит к упомянутому эпизоду Писания, в котором пророк Самуил ищет богоизбранного среди дюжинных сыновей Иессея Вифлеемлянина. Мы помним, что помазание на царство происходит не по внешним знакам, а по признаку «героя сердца». Именно этим признаком (1 Цар 16: 17) Давид и отличался от старших братьев своих.

В библейском рассказе можно усмотреть нежелание Иессея предъявлять пророку младшего сына. Давид не присутствует за отцовской трапезой, пасет овец в отдалении от дома и явно не входит в круг семейной аристократии. Только по воле Бога, переданной через пророка Самуила, Давид приглашается к трапезе и обретает благодать, права помазанника. Это дает ему силу победить Голиафа, а потом и стать царем над богоизбранным народом. Только здесь находят объяснение строки пушкинской эпиграммы о певце, который, вопреки своему малому росту, побеждает великана Голиафа. Самосравнение Пушкина с Давидом, таким образом, происходит не столько в реальном времени / пространстве текущей действительности, сколько в безграничной области Священной истории.

4

Историю происхождения и рождения Давида можно было бы изложить в пушкиноведческой работе и гораздо подробнее, и гораздо занимательнее. Обширная литература, сопутствующая каноническим источникам, дает для этого много возможностей. Но в пределах темы необходимо помнить об исходном, определяющем условии: сначала надо предъявлять доказательства того, что Пушкин знал такой-то древний комментарий к Закону и Пророкам, такой-то мидраш или древнее поучение. Гипотезы в этой области возможны; однако требуют довольно существенных ограничений. Мы уже стал-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кивались с ними в предшествующем разделе, где речь шла о семье прадеда и прабабки Давида и об их потомстве.

Вместе с тем я исхожу из того, что Пушкин не мог не знать еще одной легендарной подробности, отягчающей судьбу псалмопевца. Картина помазания Давида на царство отличается некоторой странностью, без которой она не выглядит полной. В самом деле: почему семья Иессея не сразу и не добровольно предъявляет пророку младшего сына? Ведь формально у него предполагается та же доля моавитской крови, что и у старших братьев. Тогда почему же Иессей, проведя старших перед Самуилом, утверждает: тут все мои сыновья? Есть еще один, но я не знаю, мой ли он сын. Он не здесь, он пасет овец.

Предположение Иессея о его якобы неродстве с Давидом не нашло канонического подтверждения, но имело чисто житейские основания. По причинам племенных запретов, которые здесь не обсуждаются, еще за много лет до рождения Давида Иессей отлучил свою жену Иезавель от супружеского ложа. Поэтому когда Давид родился, у Иессея возникло стойкое ощущение: Давид ему не родной, но всего только ребенок жены, единоутробный брат законным сыновьям. А Иезавель — блудница. По версии самой Иезавели, отцом Давида был все-таки ее законный муж. Она, оставленная супруга, подкупила слугу Иессея, который водил к господину своему женщин известных достоинств. Однажды, темной ночью, слуга привел Иезавель на ложе Иессея. И она ушла до рассвета. Муж не узнал жены своей. Это и была ночь зачатия Давида.[17]

Младший сын Иезавели считался «мамзером», т. е. незаконнорожденным, выблядком. Потому и не присутствовал за ритуальной семейной трапезой, а пас овец отцовских в удалении от родительского дома. По-видимому, тут находит объяснение 26-й псалом, в котором Давид сравнивает святость дома Господня с нравственной ущербностью родительского гнезда:

> Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его <...> Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня (Пс 26: 4, 10).

Драматическая подмена женщины на ложе любви весьма занимательна и, наверное, не могла бы оставить Пушкина равнодушным. Такая подмена — не редкость и в Священной истории, и во

[17] См.: *Люкимсон П. Е.* Царь Давид. С. 18—19.

всемирной литературе. Да и сам Пушкин отдает дань этому фабульному ходу в поэме «Анджело» (V, 110, 126—127). Поэма написана в 1833 году по мотивам драмы Шекспира «Мера за меру». Там некий жестокий итальянский правитель Анджело изгоняет свою жену и покушается на невинность благородной девицы, уже готовой к пострижению в монахини. Но силам добра удается подменить на ложе девицу на неузнанную жену правителя. Тем самым и Шекспир, и Пушкин повторяют в отдельных чертах острый драматический эпизод, восходящий к мифологическим подробностям рождения библейского царя Давида.

Все это происходит (если вообще происходит) около трех тысячелетий тому назад и, казалось бы, сегодня относится к подробностям не первостепенно актуальным. Но дело не обстоит так просто. Первое из синхронистических Благовествований — Евангелие от Матфея — открывается как раз «родословием Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» (Мф 1: 1). Начальная глава новозаветной истории есть описание земного генеалогического древа Спасителя — от праотцев Авраама и Давида до Богоматери и Иосифа Обручника. Еще задолго до рождения Младенца строгие иеговисты тоже ждали прихода Мессии из среды потомков второго царя Израиля, а «признавали царей только из рода Давида».[18]

Другими словами, от того, какими красками мы станем рисовать родословие древнего поэта и пророка, зависит многое — особенно при сопоставлении с жизненными и творческими путями Пушкина. Совершенно ясно это выступает при осознании той новой иерархии ценностей, которая торжествует при укоренении веры в Единого Бога, а потом и при воплощении христианской Истины. То, что еще вчера почиталось низким и нечистым, становится сегодня высоким и праведным. Последние выступают первыми. Не знающий альтернатив закон уступает благодатному прощению, а догматическое фарисейство обнаруживает свою удаленность от Божественного учения.

Одной из исходных точек этой человеколюбивой линии служит знаменитый стих Давида: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших» (Пс 117: 22—23).

Если бы необходимо было найти понятия, изначально биографически объединяющее древнего псалмопевца и русского поэта, то такими понятиями могли бы стать *особность*, *отверженность*. Точно так, как сказано в 117-м псалме Давида. В самом деле, иносказание здесь довольно точно отражает ощущение, возникшее

[18] *Ренан Э.* История израильского народа: В 2 т. СПб., 1912. Т. 1. С. 399.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

у Пушкина еще в самом раннем возрасте: он, Пушкин, обнаруживает свое несходство с другими — в семье, среди сверстников, в Лицее. Контрасты детского поведения без труда выявляются в воспоминаниях о московском недоросле. Многие странности как бы лежат на поверхности, очевидны, но не особенно востребованы исследователями и знатоками. Вот, например, словесный портрет, в котором мудрено угадать образ будущего поэта. Он принадлежит перу старшей сестры, Ольги Сергеевны Павлищевой, урожденной Пушкиной:

> До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного: напротив, своею неповоротливостью, происходившей от тучности тела, и всегдашней молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать <...>. Однажды, гуляя с матерью, он отстал и уселся посреди улицы; заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну, нечего скалить зубы». Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив.[19]

Позже многие мемуаристы (да и сам Пушкин) неоднократно отмечали переменчивость характера и настроений поэта. На протяжении всей жизни он легко и как бы без видимых причин переходил от хандры к эйфории, от меланхолии к ажиотажу; нельзя исключать, что повседневное общение с ним бывало для людей обыкновенных довольно затруднительно. Слепота современников — свойство весьма обычное. При их обыденном жизнестроении такие неординарные персоны, как пастух Давид или маленький чиновник Пушкин, действительно выглядели камнями, непригодными для полезного сооружения. Тут нужна была другая оптика, другая, непонятная обывателю, жизненная цель. Реальные вариации на онегинскую тему: «Куда? Уж эти мне поэты!» (VI, 51) — неоднократно сопровождали Пушкина в жизни.

Сам Пушкин не просто умел наблюдать, но с большим удовольствием различал под бытовой поверхностью предметов и событий многочисленные глубинные смыслы, влекущие к самым основам отечественной и мировой культуры. Оттого мы и привыкли к обилию библейских, античных и средневековых образов в сочинениях Пушкина. Даже и сегодня эти образы далеко еще не выветрились из нашего сознания и обихода. Примеров тому много. Только вот далеко не все помнят, что, скажем, «каторга», слово греческое, первона-

[19] *Павлищева О. С.* Воспоминания о детстве А. С. Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 44.

чально означало гребное судно с тремя рядами весел. Оно лишь в переносном смысле понималось как место невольного заключения. Или еще. Христос Спаситель родился в яслях, и название детского учреждения, навеянное религиозной традицией, проникло через тысячелетия и пережило даже советскую власть.

Многие такого рода культурные заимствования мы, может быть, храним и понимаем только потому, что знаем их по текстам Пушкина. Так, в одном лишь «Евгении Онегине» встречаются Гомер и фламандская школа живописи, римский папа Пий VII и французское «вино кометы», варяжский князь Рюрик и шляпа боливар из испанской Америки. И даже — в черновиках романа — мудрец Китая Конфуций (VI, 219).

Все это находило себе место на страницах произведений о «наших днях», о самой острой современности. Пушкину случалось обращаться к образам из библейской биографии царя Давида даже и в текущей переписке. Одно из таких обращений весьма показательно.

Здесь, конечно, не место для сколь-нибудь подробного изложения полемики между Пушкиным и кругом Булгарина, разгоревшейся на рубеже 1831 и 1832 годов. Достаточно будет только напомнить, что в этой полемике обсуждались антибулгаринские сочинения А. А. Орлова. Об одном из выступлений против своего литературного противника Пушкин упомянул в письме к Орлову от 24 ноября 1831 года в таких выражениях: «Мал бех в братии моей, и если мой камышек угодил в медный лоб Голиафу Фиглярину, то слава Создателю!» (XV, 2).

Тем самым Пушкин вновь обращается к помянутому уже 151-му псалму Давида и к его, Давида, поединку с Голиафом. Автор письма в очередной раз примеривает на себя образ безвестного пастуха, вышедшего на бой с филистимлянским колоссом. Роли в литературной полемике опять распределены с полной очевидностью: если Булгарин — Голиаф, то Пушкин, конечно, Давид. Быть может, от нас ускользает и еще как минимум одна, весьма показательная, деталь сюжета. Библейский Давид совершенно ясно представлял себе реальное, житейское соотношение сил между собою и своим противником. Голиаф был неизмеримо сильнее, о чем пастуху напоминали и рядовые воины, и сам царь Саул. Но Давид твердо стоял на своем: не меч, а Господь «предаст вас в руки наши» (1 Цар 17: 47—49). Давид возлагает свою надежду на Бога, и за пастухом следует Пушкин. В публицистическом противостоянии Булгарину он пользуется псевдонимом — Феофилакт Косичкин. Имя Феофилакт — греческое. Оно означает *Хранимый Богом*. Пушкин в не-

сколько ироническом смысле подхватывает основной идейный мотив ветхозаветного воителя. Ведь кто же Давид в противостоянии Голиафу, как не направляемый Богом и хранимый Им?

Попытку проследить некоторые черты воображения поэта я сделал в другой работе;[20] здесь же речь пойдет о жизненных путях поэта, пролегающих далеко не только в дольних пределах...

5

Понимание особности, непринадлежности к «толпе», довольно скоро привело юного Пушкина к поискам своего места среди людей, к осознанию своего круга общения. Тут важно установить, что под кругом общения Пушкин подразумевает далеко не только тех персон, которые его реально окружают. Чем старше становится поэт, тем влиятельнее в его жизни выступают не бытовые знакомцы, а крупные исторические фигуры, так или иначе определяющие пути людских поколений. Уже в юношеских стихотворениях — «Наполеон на Эльбе», «Бова» и др. — поэт-лицеист обращается к собеседникам, так сказать, мирового значения — от Гомера до Наполеона. Они ему пока явно не соразмерны; тем не менее воображение молодого Пушкина вращается в просторах времен и народов. Самосравнение поэта с тем же Бонапартом звучит, например, в незаконченном стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», где автор, безусловно, подчеркивает совпадение своего жизненного пути с биографией императора французов.[21]

Пушкин не знает твердой границы между легендой и тем, что условно называется жизненной правдой. Поэтому он без затруднений принимает на себя некоторые черты характера, положений и поступков Давида, сына Иессеева, будущего царя. В русле этих устремлений поэта — известная запись П. В. Анненкова: отвечая старшим родственникам, упрекавшим его в уклонении от общепринятых правил, Пушкин будто бы отвечал: «Без шума никто не выходил из толпы».[22]

Возвышение Давида из простых пастухов к вершинам власти точно соответствует этому наблюдению Пушкина. Казалось бы, помазание пророком Самуилом мгновенно, сразу должно было выве-

---

[20] См.: *Листов В. С.* Пушкин: Жизнь в воображении // Пушкинский сборник / Сост. И. Е. Лощилов, И. З. Сурат. М., 2005. С. 11—59.

[21] См.: *Листов В. С.* На дальних подступах к «Пиковой даме»: О стихотворении А. С. Пушкина «Недвижный страж дремал на царственном пороге» // Грехневские чтения: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2010. Вып. 6. С. 20—23.

[22] *Анненков П. В.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799—1826 гг. СПб., 1874. С. 85.

сти пастуха из толпы дюжинных современников, привлечь к нему внимание царского двора и всего народа. Ничего подобного не происходит. Священный обряд совершается втайне, и после отбытия пророка из семьи Иессея помазанник Давид возвращается обратно на пастбище, к овцам отца своего. Люди опять, как всюду и всегда, одинаково слепы. В своей среде они не отличают того, на ком почиет Дух Божий.

Этот ветхозаветный мотив продолжается и дальше. Царь Саул, окончательно оставленный Богом, нуждается в утешении. Он, царь, обращается к придворным слугам:

> ...найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его мне.
>
> Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть (на гуслях. — *В. Л.*), человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою <...> И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде.
>
> И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу.
>
> И пришел Давид к Саулу и служил пред ним... (1 Цар 16: 17—21).

Казалось бы, выход Давида «из толпы» совершился: отныне он при царском дворе, замечен монархом. И никаким «шумом» это его возвышение не сопровождалось. Достаточно было рекомендации безвестного слуги. Однако дальнейшее развитие библейского сюжета этого не подтверждает. В следующей главе Первой Книги Царств мы (вслед за Пушкиным) узнаем, что начинается очередная война с филистимлянами. Саул не берет своего певца с собой в действующую армию, и Давиду приходится вернуться в родительский дом. Отец, Иессей, посылает на войну против филистимлян старших сыновей, а младшему, Давиду, приходится опять возвратиться на пастбища, к овцам (1 Цар. 17: 1—15). Это и есть показатель тогдашнего невысокого положения Давида среди дюжинных людей.

Читая и перечитывая библейские страницы о Давиде, Пушкин неизбежно отмечал для себя поразительные сходства. Ссоры с отцом, Сергеем Львовичем, в Петербурге и Михайловском, отказы в чинопроизводстве в Кишиневе и Одессе, наконец, царский запрет на участие в Русско-турецкой войне — все это, сквозь толщу тысячелетий, близко напоминало препятствия, известные по биографии древнего псалмопевца.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вместе с тем «шум» при выходе из толпы ожидал Давида как раз на войне с филистимлянами, куда его не пускали Саул и Иессей. Слепым орудием Провидения тут послужил как раз престарелый отец Давида — Иессей. Для своих старших, воюющих сыновей и для их военачальника он снарядил поезд с продовольствием. И поручил младшему сыну доставить снедь братьям. Следующие события в подробном пересказе не нуждаются — они общеизвестны. В обоз войск Давид попадает как раз тогда, когда филистимлянский великан Голиаф вызывает на поединок израильского единоборца, и никто из регулярного войска Саула не осмеливается принять вызов. Давид выходит на бой с Голиафом и побеждает его (1 Цар 17: 41—50).

Следует только обратить внимание на событие, предшествующее великому противостоянию. Когда Давид еще только выразил намерение сразиться с колоссом, на него рассердился старший брат Елиав, «и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение» (1 Цар 17: 28).

Примерно то же самое — о свойственных ему злосердечии, высокомерии, пустословии и зазнайстве — Давид выслушал от многих воинов. Весть о бахвальстве и хвастовстве молодого человека широко распространилась в воинском стане. И молва дошла до шатра Саула; царь принял Давида, выслушал его и сказал: «иди, и да будет Господь с тобою» (1 Цар 17: 37). Сомневаться не приходится. Это царское «*иди*» определяет собой «выход из толпы». То, что Елиав и другие недалекие люди сочли бахвальством, зазнайством и пустословием, оказалось пророчеством, которое, с Божьей помощью, сбылось. Раздражающий обывателя «шум» обернулся реальной победой, славной страницей Священной истории. Не лишним будет напомнить, что, находясь еще в толпе, — да и позже — Пушкин выслушивал от старших родственников и друзей в точности такие же упреки, какие получал его древний предшественник, псалмопевец.

Другая сторона этого эпизода из жизни Давида до сих пор приводит в недоумение и библеистов,[23] и — косвенным образом — исследователей жизни и творчества Пушкина. Дело вот в чем. Царь Саул, как мы помним, призвал Давида, сына Иессеева, к себе во дворец — играть на гуслях. И одобрял его игру. Было это *до* войны с филистимлянами. Значит, принимая певца в своем походном шатре, Саул должен был знать, *кого* он посылает на поединок и *кто* вернулся победителем и поверг отрубленную голову Голиафа к стопам своего монарха. Между тем, встречая победителя-Давида, царь

[23] См.: *Люкимсон П. Е.* Царь Давид. С. 52—53.

задает странный вопрос: кто он? «чей сын этот юноша?» (1 Цар 17: 55—58). Выходит так, будто Саул не был прежде знаком с Давидом, впервые с ним встретился. Диапазон объяснений весьма широк. То ли существовало два Давида — один играл на гуслях, а другой сражался с великаном; то ли безумный Саул в упор не видел придворного музыканта; то ли царь просто *забыл* юношу, потерял его из виду среди многочисленной придворной челяди. Все возможно. И не мне выбирать из противоречивых версий.

Но попробуем увидеть действующих лиц ветхозаветной драмы глазами Пушкина. Что происходит? Царь Саул слушает песнопения Давида, но не замечает его самого, маленького придворного поэта и музыканта. Для того чтобы взор владыки остановился на юноше, тот должен совершить нечто значительное в другой области. Например, в военной. Это-то монархи понимают куда лучше, чем красоты музыки и стихосложения. Государь Александр Павлович, царствующий почти через три тысячи лет после Саула, здесь не исключение. Как и Саул, он, по мнению Пушкина, лишен благодати; как и Саул, он слаб и лукав, пригрет славой случайно. Исследователь сложных отношений Пушкина и Александра мог бы при желании обратиться к библейским аналогиям и ввести в свой комментарий некоторые сведения о жизни Давида при дворе Саула. Это, полагаю, обогатило бы, например, понимание пушкинского «Воображаемого разговора с императором Александром I». Но — не буду отвлекаться.

При Александре Павловиче Пушкин так и не удостоился личной аудиенции у государя. Воображенный когда-то разговор с монархом — наяву состоялся уже в начале следующего царствования, при Николае I. Но известный диалог поэта и царя в Кремле в 1826 году вовсе не свидетельствовал о том, что новый император лучше знал и глубже понимал поэзию, чем его покойный августейший брат. В кремлевский кабинет государя привели Пушкина, собственно, не самые стихи, а прежде всего их острое и широкое общественное звучание. Век спустя эту сторону царского подхода к поэзии совершенно точно передаст другой русский поэт, сказавший о Николае Павловиче:

> Он помнит, чьи стихи в бумагах декабристов
> Фатально находил почти что каждый пристав.[24]

Иначе говоря, новый Саул, как и древний, озабочен, главным образом, теми государственными последствиями, которые препод-

[24] *Кедрин Д. Б.* Сводня // Кедрин Д. Б. Избранные произведения. Л., 1974. С. 88. («Б-ка поэта». Большая сер.).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

носит ему господин сочинитель как подданный. Поэтому Саул готов с легкостью пожертвовать Давидом и его поэтическим гением ради военной необходимости; поэтому же Николай I берет на себя роль пушкинского цензора, хотя мало что понимает в словесности. Недаром сам Пушкин в одном из своих писем мягко и осторожно рекомендует царя в том смысле, что «он литератор не весьма твердый» (XV, 53).

Соглашусь: прямые и буквальные параллели и аналогии, протянутые между отдаленными эпохами и неблизкими в ту пору народами, сами по себе мало что доказывают. Но доказательность нередко отступает перед образной убедительностью. Я уже вскользь упоминал о Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, куда Пушкин не попадает по решению начальства. И трудно отделаться от ощущения, что по сходным мотивам Давид не допущен в войско, сражающееся с филистимлянами. В конце концов, Давид самовольно покидает отведенное ему место в обозе и идет против Голиафа. А Пушкин столь же самоуправно оставляет столицы и оказывается на театре кавказской войны.

Мотивы, движущие пророком, направляемым Богом, обсуждать не приходится. Они неисповедимы. Но мы уже говорили о том, что Пушкина влекут на Кавказ, в сражение, в какой-то мере постигаемые желания и обстоятельства. В год путешествия (или, лучше сказать, побега) на турецкую войну ему исполняется тридцать лет. Рубежный возраст. Перешедшему этот хронологический предел пора оставлять сочинение стихов. Об этом Пушкин прямо говорил барону Розену.[25] Речь шла, полагаю, не только о возрастных, естественных причинах. Весь жизненный опыт убеждал: поэт явно отторгается в России. Ему тесно во дворцах и усадьбах, в салонах и гостиных, в казармах и канцеляриях. Духовная жажда влечет его в «пустыню мрачную», скорее в пророки, чем в стихотворцы.

С этой точки зрения я бы продолжил уже затронутую в начале тему путешествия в Арзрум. Опять Пушкин идет как бы след в след за Давидом-псалмопевцем. Накануне военного подвига оба певца располагают скромным, но важным опытом поэтического творчества перед лицом монарха. Правитель Саул одобряет стихи Давида, его музыку. Но — и только. До побед над филистимским колоссом Давид не заметен как звезда над общественным горизонтом. Эту

[25] Здесь В. С. Листов неточен; согласно свидетельству Е. Ф. Розена, Пушкин сказал ему следующее: «Помните <...> что только до тридцати пяти лет можно быть истинно лирическим поэтом...» (*Розен Е. Ф.* Из статьи «Ссылка на мертвых» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 273). — *Ред.*

часть жизненного пути, чисто поэтическую, Пушкин к 1829 году освоил. Его знает, ему благоволит государь; имя первого поэта России известно образованной России и даже за рубежами Отечества. Чего же боле? Конечно, не следует подозревать Пушкина в отчетливом желании сделать общепонятную военную или гражданскую карьеру, обрести родовые титулы, ордена, имения. Он не стремится, вослед Давиду, к сказочной женитьбе на царской дочери. Так. Но все-таки поэту внятна, не совсем чужда и общепринятая шкала ценностей. И, как всегда у Пушкина, эти ценности достигаются не послушанием, а самоуправством, собственным волевым импульсом. Побег на Кавказ отчасти вызван тем, что Пушкину уже тесно в «цехе задорном» людей пишущих, литераторов. А на Кавказе его ждет, может быть, нечто похожее на поединок с турецким голиафом, что-то клонящее к славе Отечества.

Можно сказать и иначе. Пушкин понимает, что само по себе стихотворчество невысоко стоит в сознании современных ему соотечественников. Он не доживет до уничижительной максимы министра просвещения С. С. Уварова: «Писать стишки не значит еще проходить великое поприще». Но с таким именно толкованием «Божественного глагола» он сталкивался многократно. Чиновно и карьерно ориентированные господа делали редкие исключения для государственных людей, служивших не только музам, но прежде всего державе, — Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин, Крылов, Грибоедов и немногие другие. Пушкин, вероятно, не мыслил так упрощенно и прямо. Но «дух века» и ему приходилось принимать во внимание.

К тридцати годам он уже, казалось, созрел для иного образа жизни: семья, служба, оседлость...

«Царю наперсник, а не раб»...

6

В конце своего жизненного пути, в тридцатые годы, Пушкин все чаще обращается к ветхозаветным страницам, к Первой и Второй Книгам Царств. Они, конечно, для него не новость: традиционные, знакомые с детства стихи, общеизвестные носители моральных ценностей. Поэт давно преодолел и оставил легкомысленные, подчас кощунственные, прогулки по библейским сюжетам. Теперь подход Пушкина к творчеству и биографии царя Давида — серьезен и глубок. Автор «Медного всадника» и «Капитанской дочки» понимает Давида не только как воина и певца, но, может быть, и как грешника — во всей глубине его раскаяния. Среди других обстоя-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тельств, по-видимому, именно здесь надо искать объяснение предсмертной исповеди Пушкина.

Не стану вдаваться в подробности последней дуэльной истории поэта с кавалергардом, тянувшейся осенью — зимой 1836/37 годов. Я думаю, о ней сказано не просто много, но гораздо больше, чем она заслуживает. Острословы даже замечали, что пушкинисты знают об этом поединке куда больше, чем знал о нем сам Пушкин.

Однако один эпизод все-таки придется вспомнить.

В середине ноября 1836 года В. А. Жуковский пишет Пушкину письмо. Оно дышит раздражением и обидой. Василию Андреевичу удалось уладить последствия ноябрьского вызова Пушкина Дантесу. Пушкин при свидетелях дал слово сохранить все в тайне. Но — слова не сдержал. Княгине Вере Федоровне Вяземской он сказал, что знает автора анонимных писем и собирается публично бросить противника в грязь. Тут Жуковский, добившийся было примирения, увидел себя оскорбленным. Эта «игра» ему не понравилась. Она ставила Жуковского, как ему казалось, в ложное положение. Вот последние строки из письма Василия Андреевича к Пушкину:

> Вот тебе сказка: жил был пастух; этот пастух был и забубенный стрелок. У этого пастуха были прекрасные овечки. Вот повадился серый волк ходить около его овчарни. И думает серый волк дай-ка съем у пастуха его любимую овечку; думая это серый волк поглядывает и на других овечек, да и облизывается. Но вот узнал прожора, что стрелок его стережет и хочет застрелить. И стало это неприятно серому волку; и он начал делать разные предложения пастуху, на которые пастух и согласился. Но он думал про себя: как бы мне доканать этого долгохвостого хахаля и сделать из шкуры его детям тулупы и кеньги. И вот пастух сказал своему куму: кум Василий, сделай мне одолжение, стань на минуту свиньею и хрюканьем своим вымани серого волка из лесу в чистое поле. Я соберу соседей и мы накинем на волка аркан. — Послушай, братец, сказал кум Василий; ловить волка ты волен да на что же мне быть свиньею. Ведь я у тебя крестил. Добрые люди скажут тебе — свинья де крестила у тебя сына. Не хорошо. Да и мне самому будет невыгодно. Пойду ли к обедне, сяду ли с людьми обедать, сложу ли про красных девиц стихи — добрые люди скажут: свинья пошла к обедне, свинья сидит за столом, свинья стихи пишет. Неловко. Пастух, услышав такой ответ, призадумался, а что он сделал право не знаю (XVI, 187).

Это послание тяготеет к простонародной русской сказке («кум Василий», «добрые люди», «красные девицы», «хахаль долгохво-

стый» и т. д.). Но не только. Не стану обсуждать ее в русле громкого светского скандала, к которому все в конце концов и пришло. «Сказочка» Жуковского будет важна только в пределах того библейского источника, на который она, думается, в большой степени ориентирована.

Глава двенадцатая Второй Книги Царств рассказывает о трагических последствиях, к которым привела царя Давида его преступная страсть к Вирсавии, жене воина Урии Хеттеянина. Сухой остаток этой истории можно было бы свести к царскому приказу совершить убийство Урии, маскированное под гибель в сражении, и к последующей женитьбе царя на вдове воина. Все это хорошо известно, многократно служило сюжетом для произведений мирового искусства — преимущественно живописи. В этом же ряду и эпизод библейского рассказа — пророк Нафан, по внушению Бога, обличает царя:

> И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный;
>
> у богатого было очень много мелкого и крупного скота,
>
> а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди его спала, и была для него, как дочь;
>
> и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить *обед* для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему.
>
> Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;
>
> и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания.
>
> И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит Господь... (2 Цар 12: 1—7).

Прервем здесь библейский сюжет, — тем более что продолжение его, связанное с покаянием, наказанием и прощением Давида, известно весьма широко. Вернемся к «сказочке» Жуковского. В ней автор почти не следует некоторым очевидным мотивам ветхозаветного рассказа. Самая фабула финальной части письма Василия Андреевича — иная. Поэтому не видно прямых соответствий характеров и положений — между палестинской древностью и петер-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бургским светским скандалом. Вряд ли есть смысл искать какие-то обязывающие сходства Пушкина с Урией Хеттеянином, а сестер Гончаровых — с библейскими овечками.

Вместе с тем ветхозаветная притчевая атмосфера, несомненно, сгущается в послании Жуковского. Уже одно то, что объектом драмы выступают «овечки», замещающие людей, можно считать чем-то вроде родового пятна на упреках, обращенных Жуковским к Пушкину. Быт пастушеских племен, живших почти три тысячелетия тому назад, находит свое дальнее отражение в почтовой прозе XIX века. Овец пасли еще праотец Авраам и следующие за ним поколения кочевников. По преданию, и Давид получил Божье помазание на царство, когда Господь увидел, как Его будущий избранник ходит за овечьим стадом. Ту же линию продолжает и Новый Завет. Сам Христос рождается в вертепе, в соседстве с овцами, а в Апокалипсисе назван Агнцем (Откр 21: 27; 22: 1). И основание Церкви Христовой прямо восходит к этому же мотиву: Иисус говорит апостолу Петру: «паси овец Моих» (Ин 21: 17).

Иными словами, все верующие в этом смысле понимаются как *пасомые*. Кажется очевидным, но в развитие нашей темы необходимо заметить, что в письме к Пушкину Жуковский обращается с вразумлением к грешнику и в большой степени берет на себя как раз роль, близкую к роли пророка Нафана.

Разумеется, нас не занимает бессмысленный вопрос: прав ли Жуковский перед Пушкиным? Эпизод сам по себе весьма сложен и целиком зависит от точки зрения наблюдателя. Достаточно будет не забыть поэтический характер Василия Андреевича, который пишет современную ему драму красками Священной истории. Его собственная роль, напоминающая роль библейского пророка, подтверждается всем дальнейшим ходом петербургских событий. Пророк Нафан обличал Давида во грехах, но глубоко и искренне любил обличаемого. Так же, отечески, Жуковский относился к Пушкину. Нетрудно это показать даже и в пределах обсуждаемого сюжета. Несколькими днями позже сочинения сказочки об овечке Жуковский пишет Пушкину записку — совершенно в духе Нафана:

> Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем. — Я приду к тебе между ½ 12 и часом: обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено. Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду.

Дождись меня, пожалоста. И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим (XVII, 189).

Жуковский идет вслед за Нафаном. Осудив Давида, пророк не лишает его благоволения, до конца дней царя остается его другом и союзником. Более того. Нафан становится воспитателем и наставником сына Давида и Вирсавии — царевича Соломона. Эту ветхозаветную подробность Василий Андреевич знал, и она еще прочнее укрепляла его в роли Нафана. Ведь как раз Жуковский служил воспитателем детей царской фамилии, и его воспитанником был наследник — цесаревич, будущий царь Александр II.

Пушкин должен был по достоинству оценить притчу нового Нафана «про овечку». При всех обидах, высказанных Жуковским, он, Пушкин, обретал в письме достоинства и пороки самого царя Давида — воителя, певца, грешника. Судьба распорядилась продолжить сравнение и дальше. Нафан принимает последний вздох Давида на смертном одре — подобно тому, как Жуковский присутствует при кончине поэта.

...Скоро полвека исполнится с тех пор, как я пытаюсь изучать творчество и биографию Пушкина. На этом пути пришлось много и подолгу заниматься его произведениями, определяющими вехами жизни, противоречиями характера. Но кажется, ни разу не посетило меня искушение объяснять кровавую развязку трагедии. Почему? Теперь, думается, могу на этот вопрос ответить. За вычетом нескольких серьезных трудов наших лучших исследователей (включая сюда и А. А. Ахматову), работы многих «знатоков» предмета както сваливаются в «дантесоведение». Можно сказать и по-другому: главным действующим лицом национальной легенды становится некий ревнивый господин, легко замещаемый кем угодно и масштабно соизмеримый со своими противниками.

Жуковский своею «сказочкой-притчей» дает совершенно иной — не буквальный, а образный — ключ к сюжету. Василий Андреевич не опускается до прямых, лобовых поношений. В лучших традициях «золотого века» словесности он облекает свои претензии в образную ткань, поднимает их на высоту, напоминающую о самых главных чертах отечественного просвещения и мировой культуры. В такой форме даже самые горькие дружеские упреки не казались обидными.

Можно только пожалеть о том, что наше позднейшее изучение Пушкина далеко не полностью сохранило эту благородную традицию «золотого века».

Завершая работу, стоит обратиться к последнему земному напоминанию о царе Давиде, полученному поэтом, — в трагическую ночь с 27 на 28 января 1837 года. На смертном одре исповедовал и причащал Пушкина священник Староконюшенной церкви о. Петр Песоцкий. От имени умирающего он обращался к Богу с канонической молитвой, сопровождающей православных, покидающих этот мир: «Боже, Спаситель наш, Ты через пророка Нафана даровал прощение Давиду, раскаявшемуся в своих согрешениях... Ты же прими со свойственным Тебе человеколюбием и чадо Твое Александра, кающегося в своих согрешениях».

Таким образом, память о Давиде, пророке и поэте, сопровождала Пушкина от самого рождения и до самой кончины. Это понятно и просто. Не думаю, что правы те, кто полагают, будто христианская кончина поэта явилась результатом усилий императора и благонамеренных друзей. Во всяком случае, постоянное присутствие библейского пророка в чувствованиях и размышлениях Пушкина склоняют к иному выводу: его религиозный опыт был, несомненно, глубок и разносторонен.

И последнее.

Могила Пушкина в Святогорском монастыре на Псковщине увенчана надгробным камнем с древним символом — звездой Давида. Певца, воина, пророка...

Пушкинский кабинет ИРЛИ